

# Representation of Ethnic Images of Siberian Space in the Travelogue by M. F. Price

---

Sergey S. Zhdanov

Gorno-Altai State University; Siberian State University of Geosystems and Technologies. Gorno-Altai, Novosibirsk, Russia.  
 Email [fstud2008@yandex.ru](mailto:fstud2008@yandex.ru) ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

Received: 24 May 2025 | Revised: 18 July 2025 | Accepted: 28 July 2025

## Abstract

---

The paper deals with the representation of ethnic images of Siberian space in M. F. Price's travelogue "Siberia". The influence of the ideas of colonialism and orientalism on the author is noted, which shapes the system of assessments applied to the anthropic space in the work. In this regard, the West-East opposition is highlighted as a key organizing principle of the text. The West stands as a standard of civilization, progress, and enlightenment, whose influence diminishes as one moves eastward. Siberia, in particular, appears as a mixture of Westernness and Easternness, which are not equally expressed across its territory, where Russians are indicated as the main anthropic element. The representation of the Siberian is also influenced by Rousseau's idea of the naive savage, which is actualized in the text through the motif of childishness, characterizing both Russian colonists and native Siberians. At the same time, the text attempts to present the Siberian as an emerging subethnos that differs from the Russians of European Russia in terms of independence, which is most characteristic of the Siberian frontiersmen. The travelogue also highlights the narratives of Siberian regionalism characteristic of the Siberian economic elite. In addition, the author's ethnic typology of the native Siberian peoples is analyzed on the basis of Finnishness and Tartariness. Finally, the features of Russians/Siberians are described, which, according to Price, facilitate intercultural communication in Siberia. These include adaptability, the ability to assimilate foreign cultural elements, as well as fraternity towards the Other.

## Keywords

---

Travelogue; Frontier; Liminality; Empire; Orientalism; Siberia; China; Interethnic Relations; National Identity; M. F. Price



This work is licensed under a [Creative Commons "Attribution" 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Репрезентация этнических образов сибирского пространства в травелоге М. Ф. Прайса

---

Жданов Сергей Сергеевич

Горно-Алтайский государственный университет; Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Горно-Алтайск, Новосибирск, Россия.  
Email [fstud2008@yandex.ru](mailto:fstud2008@yandex.ru) ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

Рукопись получена: 24 мая 2025 | Пересмотрена: 18 июля 2025 | Принята: 28 июля 2025

### Аннотация

---

В статье рассматривается репрезентация этнических образов сибирского пространства в травелоге М. Ф. Прайса «Сибирь». Отмечено влияние на автора идей колониализма и ориентализма, что обуславливает оценочную систему описания антропоного пространства в произведении. В связи с этим в качестве ключевой для текста выделена оппозиция «Запад – Восток». Западность выступает эталоном цивилизованности, прогресса, просвещенности, степень выраженности которых падает по мере движения на восток. Сибирь, в частности, предстает как смесь западности и восточности, неоднородно выраженных на ее территории, где антропным элементом названы русские как основной антропный элемент. На изображение сибиряка также влияет руссоистское представление о наивном дикаре, что актуализировано в тексте через мотив детскости, характеризующий как русских колонистов, так и коренных жителей Сибири. При этом в тексте сделана попытка представить сибиряка в качестве зарождающегося субэтноса, который отличается от русских европейской России акцентированной независимостью, в наибольшей степени свойственной сибирякам – жителям фронта. Также в травелоге отмечены нарративы областничества, характерные для экономической элиты сибирского общества. Кроме того, проанализирована авторская этническая типология коренных сибирских народов на основании финнскости и татарскости. Наконец, описаны особенности русских/сибиряков, которые, по Прайсу, облегчают межкультурную коммуникацию в Сибири. К ним относятся приспособляемость, способность к ассимиляции инокультурного элемента, а также братскость по отношению к Другому.

### Ключевые слова

---

травелог; фронтир; лиминальность; империя; ориентализм; Сибирь; Китай; межнациональные отношения; национальная идентичность; М. Ф. Прайс



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Введение

Образ Сибири в русской культуре тесно связан с феноменом фронта. Данный топос может быть представлен, с одной стороны, как динамическая граница между освоенным людьми (антропным), характеризующимся достаточно высокой мерой упорядоченности, и «диким», энтропийным пространством. В этом смысле фронтальность выступает частным случаем лиминальности. Как подчеркивает Н.Е. Меднис, «в той или иной форме речь о границе идет почти в каждом из субтекстов того локально-тематического целого, которое мы <...> называем “сибирским текстом” русской литературы» (2011, с. 120).

С другой стороны, сибирский фронт в различного рода культурных текстах выступает «как зона столкновения, ассимиляции и взаимовлияния всех культур и общностей, проживающих и развивающихся в данный момент времени на рассматриваемой территории» (Панарина, 2013, с. 39). Активная динамика диалога культур, фиксируемая в рамках сибирского текста, закономерно порождает различные, порой весьма экзотические переходные варианты Своего и Чужого. Этот процесс усиливается медиационностью Сибири как пространства взаимоперехода условных «цивилизации» и «дикости», а также наложением интересов различных народов, государств и т.п. Согласно М.В. Шиловскому, «процесс колонизации» сибирского пространства обусловил «формирование “человека фронта”, обладавшего качествами, отличными от менталитета жителя метрополии» (2021, с. 46–47).

Следует заметить, что сибирские фронтальность и лиминальность находят свое отражение не только в русской, но и в иных культурах, относящихся, в частности, к условному Западу, что зафиксировано во множестве произведений, маркированных сибирскостью. Эти инокультурные изводы сибирского текста, в свою очередь, не раз становились предметом научного интереса в гуманитарных исследованиях. Образы Сибири и отдельных ее топосов рассматриваются в работах, посвященных как иностранным романам (Новикова, 2022; Олицкая, 2018), так и, в значительно большей степени, зарубежным травелогам одного (Alekseev, Alekseeva, & Boone, 2020; Абрамов, 2020; Демидова, Халина, & Янчевская, 2024; Макурин, 2024; Мароши, 2018; Мароши, 2021; Нечипорук & Горелко, 2023; Останина, 2019; Останина & Шастина, 2018; Прожорин, 2020; Тайманова, 2015) или нескольких (Ozola & Burima, 2023; Аверкина, Курмелев, & Логинова, 2023; Алексеев, 2024; Даниш, 2016; Ершов, 2021a; Ершов, 2021b; Ланца, 2019; Мингати, 2018; Сенюхин, 2020) авторов.

Несмотря на достаточно значительный научный интерес к сибирской проблематике в нерусскоязычных травелогах, эта область исследования по-прежнему содержит немало лакун. В частности, насколько нам известно, практически не изучена тема межнациональных отношений в Сибири, пред-

ставленная в травелоге «Сибирь» (“Siberia”<sup>1</sup>) (1912) М.Ф. Прайса. Именно этот текст выступает материалом нашего исследования.

Соответственно, целью нашей статьи является анализ репрезентации этнически маркированных образов в травелоге Прайса в рамках семиотико-имагологического подхода, позволяющего выявить варианты динамической образности Своего и Чужого в тексте, установить общее и различное в авторских интерпретациях данной образности. Помимо семиотико-имагологического подхода, в ходе анализа текста мы обращались также к институциональному подходу, учитывающему государственную, этническую и профессиональную принадлежности автора, влияющие на его взгляд на описываемое пространство, а также к методу контент-анализа, касающемуся содержательной стороны источника, и сравнительно-историческому методу.

## Результаты и обсуждение

Прежде чем перейти к анализу маркированных сибирскостью этнических образов в травелоге Прайса, обозначим в общих чертах историко-культурный контекст, в рамках которого описывается пространство Сибири в произведении. Это не только ситуация «большой игры», когда Российская и Британская империи оспаривали друг у друга господство в Азии, но и последствия русско-японской войны, в том числе ослабление позиций России на русско-китайском фронтире.

Британец Прайс, имевший отношение к журналистике (Вугне, 2022, р. 86) и позиционировавший свое путешествие по Сибири и Монголии как научное, сконцентрированное прежде всего на социально-экономических аспектах жизни этих территорий (Price, 1912, р. VII), тем не менее не мог игнорировать историческую динамику геополитики в Евразии, в частности, упоминая разделение Монгольской империи между двумя державами (powers) – Британией и Россией, которые национально маркированы в тексте (англосаксы и «русские славяне»):

Англосаксонская держава, которая свергла Моголов и... уничтожила остатки центральноазиатской Монгольской империи в этих регионах, теперь господствует в Индии и Южной Азии. Но с тех пор постепенно выросла другая держава <...> и путем мирного проникновения на Восток покорила монгольскую и татарскую державу Восточной Европы и Северной Азии <...> русские славяне показали себя великой политической европейской державой, которая доминирует в Северной и Западной Центральной Азии (1912, р. 2).

1 Здесь и далее перевод с английского наш – авт.

В качестве третьей державы назван воплощающий в тексте мифологему загадочной древности Китай, который, судя по контексту, хотя и находится в ситуации политической неопределенности, тем не менее, мыслится Прайсом как субъект геополитики<sup>1</sup>, соприкасающийся с Россией на фронтах Сибири и Туркестана, рассматриваемых с точки зрения лиминальности.

...существует третья политическая держава Азии, восточная держава <...> И с этой третьей державой – самой загадочной и древней из всех – сталкивается странник на восточных границах России. На плодородных равнинах и бесплодных плоскогорьях за сибирскими и туркестанскими границами эта держава <...> все еще сохраняет свое слабое политическое влияние на руинах некогда славной Тюрко-монгольской империи. (1912, p. 2).

Итак, если Китай воплощает собой Восток, а Британия – имплицитно – Запад, то Россия традиционно изображена Прайсом как некий промежуточный вариант, соединяющий в себе западные и восточные черты: в не ограниченной «восточными рамками» русской цивилизации<sup>2</sup> «Восток и Запад смешиваются», «как винодел смешивает вино двух разных сортов» (Price, 1912, p. 2). Российская империя обозначена «промежуточной средой»

1 Примечательно, что в написанном в конце XIX века травелоге другого британца, А. Рида, Китай изображен объектом геополитики, «беспомощной империей» (Reid, 1989, p. 282), за доминирование над которой сражаются западные державы (и прежде всего «англосаксонская раса») и Россия («славянская раса»): «Вопрос дня – это будущее Китая и то, будет ли эта страна реформирована англосаксонской или присоединена славянской расой» (1989, p. 258), т.е. за десяток лет происходит смена геополитического баланса в Азии. Ср. также с упоминанием в тексте Прайса, что «желтые народы, японцы и китайцы», «в последние несколько лет с русско-японской войны» «становятся очень активными» в Манчжурии (1912, p. 41), которая Ридом ранее рассматривалась как де-факто российское лиминальное пространство, над которым Китай потерял контроль. Последствием русско-японской войны является также рост опасений сибирского крестьянства по отношению к внешнему окружению России на Востоке в противовес братского чувства к «своим» азиатам, финским и татарским племенам: «крестьянин... рассказал мне, что он участвовал в русско-японской войне в Маньчжурии и видел желтых людей. Он сказал, что очень боится их и надеется, что они больше не нападут на Россию» (1912, p. 101); «Под всем этим скрывалось смутное чувство страха перед желтыми расами, такими как японцы и китайцы, которого они, похоже, никогда не испытывали по отношению к финнам и татарам» (1912, p. 102); «Он [сибирский крестьянин – авт.] был наслышан о растущем могуществе Японии и был одержим смутным страхом перед китайской опасностью» (1912, p. 118).

2 В тексте Прайса обозначения государственных, национально-этнических и культурных идентичностей по крайней мере частично накладываются друг на друга. Автор прибегает к таким терминам, как “power” (держава, но и власть, могущество) (e.g., “Anglo-Saxon power” (1912, p. 1), “Mongol and Tartar power” (1912, p. 2), “Teutonic political power” (1912, p. 4), “Mussulman power” (1912, p. 172), etc.), “empire” (империя) (“semi-Oriental Slavonic Empire” (1912, p. 3), “Russian Empire” (1912, p. 37), “Eastern Empire of Christian Rome” (1912, p. 63), “Chinese empire” (1912, p. 2), etc.), а также к “race/races” (народ/народы, но и раса/расы – эти значения не всегда удается точно разграничить при переводе на русский) (“yellow races, the Japanese and Chinese” (1912, p. 41), “white races of mankind” (1912, p. 47), “Turko-Finnish races” (1912, p. 50), “Yellow and Mussulman races of Central Asia”, “differences of race and religion” (1912, p. 84), “northern race” (1912, p. 98), “Asiatic races” (1912, p. 146), etc.), “nationality” (национальность) (“Russian nationality” (1912, p. 3), “Lettish nationality” (1912, p. 163), etc.), “nation” (нация, народ, государство) (“racial differences among nations” (1912, p. 26), “nations in Western Europe” (1912, p. 84), etc.), “civilization” (цивилизация как особая (этно-)культурная идентичность и как уровень цивилизованности с точки зрения идеи прогресса) (“Slavonic civilization” (1912, p. 3), “Western civilization” (1912, p. 68), “European civilization” (1912, p. 81), “semi-civilization” (1912, p. 134), “standards of civilization” (1912, p. 154), “more civilized and cultured”, “highly developed civilization” of China (1912, p. 264), “Chinese civilization” (1912, p. 300), etc.).

(“medium”) между Востоком и Западом, причем свойство восточности закономерным образом распределено по ее территории градуально, усиливаясь по мере отдаления от западных границ: «Уже в Москве его (европейского путешественника – авт.) окружает славянская атмосфера, и по мере продвижения на Восток он постепенно ориентализируется» (1912, р. 1). Русское пространство представляется местом культурного трансфера, смешения двух направленных навстречу друг другу влияний. Одно из них, восточное, «татарское» (“Tartar influence”), локализовано автором изначально в «восточных степях»; другое, западное, – в районе Финского залива: «Западное влияние, которое Петр впустил через свое окно на Финском заливе, наконец-то ощущается, и благодаря славянам мы видим, как оно распространяется на Восток» (1912, р. 3). Ср. также ремарку Прайса о сибирских крестьянах, в характере которых сочетаются Восток и Запад: «он объединяет восточное чувство братства с большей прямоотностью, присущими Западу» (1912, р. VIII).

Следует отметить, что соотношение восточности/западности колеблется и в пространстве Сибири. Так, по словам грека, родившегося в Турции и ставшего русским подданным (что само по себе есть соединение Запада и Востока), «единственное место в Азии, в котором европейцы могли бы выгодно обосноваться <...>, это Южная Сибирь, где проживает белое европейское население с одинаковым уровнем жизни, так что все могут конкурировать на более или менее равных условиях» (1912, р. 42). Попадая же в Абаканские и Минусинские степи, автор замечает: «Хотя это все еще была Сибирь, теперь во всем чувствовалась восточность» (“Oriental feeling”) (1912, р. 50). Соответственно, в контексте данного высказывания Прайс выделяет Сибирь, которую он готов признать европейской, по крайней мере частично относящейся к Западу за счет русского/славянского населения, и более восточную в этнокультурном смысле Сибирь, где западность отсутствует или почти отсутствует.

При всей симпатии Прайса к славянам их восточность является, по его мнению, тем, что должно быть нивелировано за счет усиления западного начала. Русские, особенно сибиряки, для него подобны детям, что зафиксировано в употреблении прилагательного “childlike” по отношению к ним: «крестьяне – ... по-детски непосредственные люди» (1912, р. 47); «Они (служащие сибирского банка – авт.) были заняты неторопливым заполнением бланков крупными детскими буквами, как будто находились на школьном экзамене» (1912, р. 67); «Абаканские татары из Сибири и русские торговцы<sup>1</sup> были... по-детски непосредственными людьми» (1912, р. 147); «Сибирский пограничный торговец шерстью, как и сибирский крестьянин, <...> похож на ребенка» (1912, р. 150). Ср. также: «житель сибирского пограничья – дитя природы» (1912, р. 168). Соответственно, в проникнутом ориенталистскими установками травелогге мы имеем дело с руссоистской мифологемой

1 Здесь татары и русские объединены в иерархии британца Прайса мотивом детскости, который, как представляется, тесно связан с мотивами восточности и дикарскости населения Сибири.

наивного дикаря, который в том числе копирует действия «взрослых»-европейцев в ритуале карго-культа, не понимая его смысла. Это видно из травестийного описания действий банковских служащих в Минусинске:

...они предприняли героическую попытку облачиться в мантию западной цивилизации и подражать, насколько это было возможно, в своей грубой, *детской манере* экономическому институту, который, очевидно, был выше их понимания. <...> уже были готовы к развитию зачатки чего-то большего, и я один из тех, кто верит, что славяне когда-нибудь будут развивать свой грубый человеческий материал по западному образцу (1912, р. 68).

Соответственно, русский (=славянин), по Прайсу, представляет собой своего рода заготовку человека, нуждающуюся в обработке по западному образцу; человеком в полном смысле здесь имплицитно мыслится именно западный человек. Ср. также: «Западная предприимчивость заложила свои корни даже здесь», т.е. в Сибири (1912, р. 20); «Примитивные условия и поверхностное подражание западной культуре были очевидны повсюду» (1912, р. 22). Частичная азиатскость России для британского автора в духе просвещенческих установок означает ее отсталость, ретардацию на пути прогресса, по которому прошли народы Запада, т.е. неполная европеизированность русских, по мнению нарратора, есть их недостаток:

Из-за контактов с Азией и влияния монголо-татарских нашествий в Средние века русские европейцы не могли продвигаться по тому же пути сельскохозяйственного, промышленного и социального прогресса, что и другие народы Западной Европы (1912, р. 181).

Этот недостаток, однако, можно исправить европейским просвещением, если привить славянину западные идеи, которые, по Прайсу, априори эталонны: «Нет более просвещенного народа, чем славяне, если они в какой-то момент основательно прониклись западными идеями; но число тех, кто действительно принимает эти идеи, пока очень невелико» (1912, р. 75). Впрочем, иногда британский автор позволяет себе ограниченный культурный релятивизм в рамках собственного западоцентризма, допуская, что сибирский крестьянин, в восприятии которого нарратором заложена руссоистская идея естественного человека, может быть счастливее прогрессивного англичанина с его идеей фикс труда и накопления капитала, но и в этом случае восхищение дикарем-полуазиатом, не понимающим, что время – деньги, имеет иронический оттенок:

Английская деревня – просто Уолл-стрит по сравнению с сибирской деревней во время пасхальных праздников, <...> сколько материальных благ могли бы накопить эти люди, если бы использовали хотя бы часть потраченного впустую времени. Но, возможно, они не хотят накапливать богатство, и они определенно чувствуют себя счастливее без безумной погони западного человека за чисто материальными целями (1912, р. 55).

Еще одной важной культурной установкой Прайса, характерной для репрезентации пространства Сибири, является подспудное восприятие

последней как колонии по отношению к европейской России. Автор, правда, использует слово «колония» в тексте исключительно в локальном смысле поселения колонистов, не расширяя этот смысл эксплицитно на всю сибирскую территорию («целое сообщество или часть сообщества мигрирует и образует общую колонию» (1912, р. 43); «русская деревня, где на берегах Енисея поселилась колония сибиряков» (1912, pp. 50–51); «здесь у небольшой колонии сибирских крестьян есть участок земли» (1912, р. 117), etc.), за исключением одного места, которое, однако, можно трактовать как метафорически обобщенное: «В Сибири больше нет ужасов исправительной колонии» (1912, р. 193). Единственный случай, когда речь идет о колонии как об обширной территории/покоренной стране, соотносится с пространством британской колонии, подчеркивая противопоставление русского и британского способов колонизации, о чем будет подробнее сказано далее:

...Алексеев сблизился с этими туземцами благодаря мирному убеждению и мягкому влиянию. Насколько это отличалось от властного тона британского колониста или британского солдата в восточной колонии (1912, р. 149).

При этом Прайс часто использует существительное «колонизация» (colonization), глагол «колонизировать» (to colonize) и производные от него применительно к пространству Сибири: «Казанские татары <...> собирались вместе <с русскими> <...> колонизировать <...> эти неосвоенные районы вдоль сибирской границы» (1912, pp. 153–154); «рвение к колонизации новых восточных территорий» (1912, р. 182); «колонизирующее движение распространилось сначала вдоль берегов рек Западной и Восточной Сибири» (1912, р. 187); «За последние двадцать лет правительство действительно сделало все возможное для поощрения организованной колонизации Сибири»; «Сибирь в прошлом была колонизирована пятью различными социальными классами российского общества» (1912, р. 188); «зона, где лес постепенно переходит в степь, является наиболее благоприятной для сельскохозяйственной колонизации» (1912, р. 208). Кроме того, важно, что на Сибирь проецируется ситуация освоения Британией Северной Америки, что актуализирует параллели между отношениями Сибири и России, с одной стороны, и Канады и Британской короны – с другой. Сходство Сибири с Канадой – лейтмотив травелога Прайса: «когда-нибудь это будет российская Канада, даже если это еще не так» (1912, р. 8); «Мне показалось, что я слышу отголоски аналогичных заявлений канадских патриотов в Оттаве о действиях политиков с Даунинг-стрит в Лондоне» (1912, р. 12) (о беседе с сибиряком); «Я никогда не видел страны, более похожей на Канаду, и во время поездки мне особенно приходили на память леса Северного Онтарио и Квебека» (1912, р. 14); «Это было так похоже на разговор канадца с англичанином из “старой страны”» (1912, р. 19); «общество в любом городе, расположенном вдоль Сибирской железной дороги, очень похоже на то, что можно увидеть в шахтерском городке на севере Канады» (1912, р. 32); «общество в Сибири соотносится с обществом в европейской части России»

во многом так же, как общество в Англии с обществом в Канаде» (1912, р. 34); «Сибирь отличается от старой России <...> точно так же, как общество в Англии отличается от общества в Канаде или Западной Америке» (1912, р. 38). Таким образом, Прайс всячески акцентирует отличие сибиряков от русских европейской части России:

Сибирь... находится там, где поколение назад была Канада. Точно так же, как английский поселенец в Канаде стал канадцем, так и русский поселенец в Сибири стал сибиряком (1912, р. VII)

Исподволь автор подводит к мысли о формировании новой протонациональной идентичности<sup>1</sup>, отличной от самоидентификации «старой России», по аналогии с тем, как канадскость есть вариант более широкой общности англосаксонской расы/народа: «зародыш сибирского национального самосознания развивается за счет русского национального самосознания, и путешественнику по Сибири невольно вспоминается аналогичное развитие событий в британских самоуправляющихся колониях» (1912, р. 196).

Помимо того, Прайс передает свои разговоры с сибиряками, торговцем из Иркутска и золотодобытчиком из Красноярска, т.е. с представителями экономической элиты сибирского общества, выступающими с характерным лозунгом «Сибирь для сибиряков», который можно соотнести с установками областничества:

Санкт-Петербург мертвой хваткой держит Сибирь. Она русифицируется и втягивается в бюрократический водоворот; но откуда петербургским чиновникам знать, чего мы хотим здесь? Сибирь – для сибиряков (1912, р. 12); Мы не хотим, чтобы наши деньги тратились на ненужные военные железные дороги на Дальнем Востоке <...> или на военно-морские вооружения в Прибалтике. Мы хотим, чтобы Сибирь развивалась для сибиряков (1912, р. 20).

Что касается оценки сибиряков, Прайс дает в целом положительную оценку сибирского крестьянина, которая, впрочем, не лишена амбивалентности: «он глуп и медлителен, как и все крестьяне во всем мире; но выносливый<sup>2</sup>, умиротворенный, терпимый и очень дружелюбный» (1912, р. 38).

- 1 Рид, более сдержанный в высказываниях, чем Прайс, также, однако, отмечает непохожесть сибиряка на русского из европейской части России: «Сибирь населена выносливым и трудолюбивым русским крестьянством, более активным и прогрессивным <...>, чем крестьянство собственно России» (Reid, 1989, р. 147). Сходный пассаж находим в травелоге «Сибирь»: «Сибиряки приобрели более независимый характер и возмущены тем, что... бюрократы в Санкт-Петербурге обращаются с ними как со своими протеже» (Price, 1912, р. 84).
- 2 Порой в своих оценках Прайс переходит от снисходительной симпатии к провокативным высказываниям на грани с расизмом: «Очевидно, что нервная система такого человека [русского в «экстремальных атмосферных условиях» – авт.] должна быть очень похожа на нервную систему низших животных» (1912, р. 44). С другой стороны, автор деконструирует ряд мифов-предрассудков о русских/сибиряках: «Представление о том, что русский крестьянин обычно грязен, в высшей степени ошибочно. Во всяком случае, здесь дом среднестатистического сибирского крестьянина может соперничать с лучшими коттеджами в сельской Англии» (1912, р. 47); «Мальчиком я всегда думал о Сибири как о стране, населенной одетыми в меха охотниками, месяцами живущими в занесенных снегом бревенчатых домах, или ссыльными, прикованными цепями к тачкам в галереях золотых рудников, пока они не умрут от холода и истощения. Эти впечатления были сильно потрясены, когда я увидел тип людей в ресторане при нашем

Автор признается в любви к сибирскому крестьянству, хотя не может до конца принять его мироустройство и общинность, что противоречит британской предприимчивости и идеалу *self-made-man*'а, особенно характерным для преуспевания в колониях, т.е. русскость/сибирскость большинства переселенцев воспринимается им все же как проявление Другого, восточности. Это актуализировано, например, в ремарке о восточном фатализме и коллективизме в русской идентичности как следствии влияния огромных пространств империи и способов управления ею:

Я часто замечал у русских в целом нечто большее, чем врожденный консерватизм. Пассивный, апатичный фатализм, характерный для восточных умов, доминирует у них и, так сказать, затмевает их общественный дух. И неудивительно, если вспомнить об однообразии страны с ее бескрайними равнинами и меланхолическими рощицами низкорослых берез, а также о тяжелой руке бюрократии, которая так эффективно сводит на нет индивидуальные усилия (1912, р. 12).

Азиатскость автор отмечает и в поведении сибиряков во время деловых споров:

Как это обычно бывает в азиатском или полуазиатском обществе, между нашим слугой и полудужиной сибирских крестьян разгорелась словесная перепалка <...> Эти стычки обычно заканчиваются ничем или, самое большее, несколькими слабыми толчками или попытками ударить между противоборствующими сторонами (1912, р. 45).

Основной тип колонизации Сибири Прайс обозначает как «типично славянский»: «целое сообщество или часть сообщества мигрирует и образует общую колонию, которая обосновывается в дикой местности и создает свое собственное маленькое изолированное общество» (1912, р. 43). Мотив изоляции сибиряков, в свою очередь, подчеркивает их отличие от русских, о котором мы говорили ранее. Прайс даже использует по отношению к первым, описывая «сибирских “старожилов”» (“old-timers”), слово “race”, что как минимум может быть переведено как «народ»:

Все они были настоящими сибиряками, ничего не звавшими ни о старой России, ни даже о Сибири, кроме того района, куда их забросила судьба. <...> эти сибирские «старожилы» представляют собой народ, отличный от европейских русских, и благодаря своей изоляции они обладают развитым, более выносливым и независимым характером (1912, р. 48).

Характерно также то, что наибольшую симпатию, фактически без всяких оговорок, автор испытывает к сибирякам-«пионерам», проживающим не в общинах, а отдельными семьями на лиминальной сибирско-монгольской территории. Прайс восхваляет их «независимый характер», не присущий сибирякам из «крестьянских колоний»: «чем дальше забираешься в эти дикие края,

отеле...» (1912, р. 17). В целом, как представляется, в тексте Прайса мы имеем дело не с прямым расизмом, а с просвещенческой установкой, основанной на идее прогресса, когда просвещенный человек оценивается выше, чем непросвещенный: «под оболочкой *Homo Vulgaris* здесь [в Сибири – авт.] скрывается существо, которое во многом имеет те же привычки, что и такое же животное в Западной Европе» (1912, р. 79), т.е. животностью отмечены люди как Запада, так и Востока.

тем более уверенным в себе и индивидуалистичным становится русский» (1912, р. 160). Именно такой тип поведения в большей степени соответствует британскому идеалу self-made-man'a:

Вместо того чтобы собираться в маленькие группы, полагаясь друг на друга, каждый человек занимается своим делом по-своему и полагается только на свою собственную инициативу. <...> характер этих первопроходцев во многих отношениях даже более привлекателен, чем у крестьян, живущих далеко на севере (1912, р. 160).

Для Прайса они почти свои, понятные ему люди, мало отличающиеся от людей Запада, что порождает сравнение честных «пионеров», далеких от крестьянской хитрости, с канадцами и североевропейцами. Таким образом, градация производится уже не между европейскими русскими и сибиряками, а внутри сибирской идентичности:

У <этих> людей никогда не бывает склонности интриговать против незнакомца, <...>, как это иногда делают крестьяне в общинных колониях. Напротив, поражает их откровенный и прямолинейный характер. Те, кого я встречал, больше напоминали мне типичных норвежских и шведских крестьян или жителей канадской глубинки, чем тех, кого я когда-либо видел в России. Я всегда думал, что таких людей не существует среди русских, пока не увидел их летом 1910 года в стране, где Сибирско-Енисейская провинция граничит с Северо-Западной Монголией. Здесь они составляют самый передовой отряд славянской цивилизации (1912, р. 160).

Прайс также подчеркивает нерусскость (изменчивую самоидентификацию) сибирских жителей фронта, живущих среди леса по соседству с финскими племенами и до некоторой степени уподобляющихся им коренному населению в силу малонаселенности и необходимости рассчитывать только на самих себя:

Я... замечал в его характере... черты, которые указывали на то, что он в какой-то степени изменил свою русскую национальность. Он мало вспоминал о своих товарищах в сибирских деревнях: его мысли были сосредоточены на своей жизни там, в дикой местности, где он мог вести свою независимую жизнь без помощи и препятствий со стороны деревенской общины. <...> в нем было меньше от истинного русского и больше от настоящих сибирских аборигенов <...> его национальные идеалы и даже его национальная религия были в какой-то степени изменены. ...разве не естественно, что в одиночестве, <...> его национальное самосознание и даже национальная религия во многом теряют свою реальность? (1912, р. 165).

Что касается этнической динамики и представленности различных народов в Сибири, то здесь Прайс предлагает следующую схему, которая напоминает слоеный пирог в локальном воплощении. Его середину, совпадающую в целом с плодородным черноземным поясом, образуют русские колонисты: «Последние три столетия были свидетелями бурного развития славянской расы, представленной в Сибири первыми казаками и их потомками, ссыльными и, наконец, крестьянами-иммигрантами» (1912, pp. 180–181). Этот «славян-

ский» слой отделяет лесной сибирский север с «финскими» племенами<sup>1</sup> от «южных татарских степей» (1912, р. 187). Финские племена названы им древнейшими в Сибири («нечистые остатки древней и примитивной цивилизации, существовавшей в Сибири еще до того, как о славянских, турецких (тюркских? – авт.) или монгольских расах стало известно» (1912, р. 180)) и при этом самыми немногочисленными. Помимо субарктики, зоной их расселения обозначено Алтайское плато (1912, р. 180). Сибирские «финны», «самоеды и остяки» описаны как ведущие «кочевой образ жизни», занимающиеся «пушным промыслом, рыбной ловлей и разведением северных оленей»; в историческом же аспекте – как «остатки так называемых угорских племен, которые когда-то населяли Сибирь и, несомненно, были важным элементом Татарского ханства, покоренного Ермаком и его казаками» (1912, р. 136). Кочевые татарские племена на юге («в степях, граничащих с Туркестаном» (1912, р. 180)) занимаются в основном скотоводством.

Русские, составляющие большинство в Сибири<sup>2</sup> («В настоящее время великороссы и малороссиянки составляют девяносто два процента населения Сибири, а остальные восемь процентов составляют коренные племена» (1912, р. 200)), не ограничиваются пригодными для сельского хозяйства территориями, но в лице отдельных представителей – охотников, рыболовов и торговцев – проникают на север и юг («пионер славянской торговли и влияния в самых диких уголках Восточной империи России, в субарктических лесах и на пограничных плато» (1912, р. 135)), вступая в тесное взаимодействие с местным нерусским населением, а также с китайцами (на сибирско-монгольском фронтире):

...наиболее предприимчивые крестьяне <...> отправляются на самостоятельную пушную охоту или торговлю с коренными финнами (1912, р. 130); ...есть и другие районы Сибири, помимо субарктических лесов и тундр, которые благоприятны для изолированной жизни торговцев и охотников. <...> в более южных широтах вдоль сибирско-монгольской границы <...> снова встречается выносливый житель пограничной зоны («frontiersman») и первопроходец (1912, р. 139–140); В лесах сибиряк обычно оказывается... среди финских племен, охотящихся за пушниной. <...> в пограничных степях ему приходится встретиться с китайцем, который приходит с юга, чтобы торговать с местными татарскими и полумонгольскими племенами (1912, р. 141).

В то же время в силу специфических исторических и географических особенностей Сибири часть ее территорий населена исключительно коренными жителями (1912, р. 196).

1 Освоение Сибири Россией в историческом плане также представлено Прайсом как начавшееся с северного пространства: «славяне начали свои сношения с Сибирью среди угро-финских племен в северных лесах, а затем победили тюрко-финскую мусульманскую державу на Тоболе и распространились на юго-восток, пока, наконец, не были остановлены могуществом Китая» (1912, р. 180).

2 Превалированием русских в Сибири объясняется легкость ее колонизации: «В Сибири нет многочисленного коренного населения..., отличающегося от русских в расовом и религиозном отношении, и нет местных проблем, которые отвлекали бы ее администраторов, как в Туркестане и на Кавказе» (1912, р. 37).

В своей типологии сибирского коренного населения Прайс выделяет три разновидности, основанные на вышеизложенном бинарном делении аборигенов на татар и финнов.

Первую группу образуют, согласно автору, собственно тюрко-татары (“Turko-Tartar”), состоящие, в свою очередь, из тобольских и томских<sup>1</sup> татар, рассматриваемых как «прямые потомки татар Сибирского ханства», покоренного Ермаком, и «киргизов из степей Западной Сибири» (1912, р. 201), «Ишимской степи на юго-западе Тобольской губернии» (1912, р. 202). Эти татары маркированы как тюркские — «чистейшие остатки тюркского племени в Сибири» (“the purest relics of the Turkish<sup>2</sup> stock in Siberia”), соответствующие «казанским татарам в европейской части России» (1912, р. 201). Цивилизационный уровень данной группы обозначен Прайсом как изначально наиболее высокий среди аборигенов Сибири: «Когда русские завоевали Сибирь, они обнаружили, что эти татары были сравнительно высококультурным народом, живущим в поселениях и даже в небольших городах, возделывающим и орошающим землю и умеющим обращаться с металлами» (1912, р. 201). Также этот элемент наиболее сближается с иными этносами Сибири: «Казачи и русские иммигранты поселились у них и вступали с ними в браки, и этот тип еще больше видоизменился в результате смешения с коренными жителями Алтая» (1912, р. 201). Они занимаются «сельским хозяйством, рыболовством и торговлей», как и русские (1912, р. 201); также под русским влиянием и «в силу холодного климата» данные татары, несмотря на «строгое мусульманство», отказались от обычая изолировать своих женщин и кутать их в паранджу» (“secluding and veiling their women”) (1912, р. 202). В отличие от татар киргизы описаны как менее цивилизованный народ, который «ведет кочевой, полуседлый образ жизни, как и в других частях Центральной Азии» (1912, р. 202).

Вторую группу в типологии Прайса — составляют ранее охарактеризованные остатки древних финских племен Сибири, самоеды и остяки (“Samoyedes”, “Ostiaks”), мигрировавшие «на северо-запад под давлением тюрков-турок (“Turk”), монголов и русских» (1912, р. 202). Их цивилизация названа «примитивной» и языческой (1912, р. 202). К сибирским «финнам» отнесены также вогулы (“Voguls”) (1912, р. 202).

Наконец, третью группу составляют, по Прайсу, «отатаренные финны» (“Tartarized Finns”), ведущие «полукочевой» образ жизни и обладающие «модифицированными чертами и обычаями, сходными с северными сибирскими финнами» (1912, р. 203). К ним автор относит «алтайских татар, или алтайцев», а также «чулымских и абаканских татар» в Енисейской губернии Центральной

1 Помимо «южной лесной полосе Тобольской и Томской губерний», присутствие этих татар отмечено Прайсом «вдоль рек Ишим и Тобол и в значительном количестве в так называемой Васюганской степи между реками Иртыш и Оби» (1912, р. 201).

2 Прайс, очевидно, не различает в тексте турок и тюрков, смешивая “Turkic” и “Turkish” (использует в тексте второй вариант), что в ряде случаев затрудняет адекватный перевод на русский язык.

Сибири, сойотов на Верхнем Енисее вдоль монгольской границы, «сходные племена» в Томской губернии в районе Северного Алтая (1912, р. 203). Последних британец отличает от «настоящего алтайского типа» (“the true Altaian type”) «на высокогорных плато Центрального и Южного Алтая», «главными представителями которого являются теленгиты и телеуты» (“Telengets and Teluts”) (1912, р. 203). Степень их русификации выше, чем у финских племен Сибири; религиозные же воззрения представляют собой смесь христианства и язычества (1912, р. 204).

Как видим, феномен сибирской полиэтничности рассматривается Прайсом в общих чертах и весьма условно. В его типологии отсутствует монгольский элемент, хотя далее, в экскурсе по истории Сибири, он вспоминает про «бурят вокруг озера Байкал» и «их монгольских сородичей дальше на востоке» (1912, р. 263). Возможным объяснением такой позиции автора является то, что монгольскость он рассматривает как вариант варваризированной китайскости, а сама Монголия для него входит в китайский культурный ареал, обозначается как Внешний Китай (“Outer China”) (1912, р. 263), что аналогично восприятию татарскости (и сибирской финскости) как составной части русскости, в которой первая должна со временем раствориться<sup>1</sup>.

В целом Прайс отмечает этническую гетерогенность сибирского населения как проявление восточности: «Здесь [на Востоке – авт.] расовые различия между нациями выражены более отчетливо, чем в Западной Европе, где таких различий меньше или должно быть меньше» (1912, р. 26). В то же время, согласно автору, эта гетерогенность в отдельных топосах обусловлена в том числе усилиями имперского правительства по смешению этносов в единое общество:

Политика правительства всегда заключалась в том, чтобы как можно больше смешивать составляющие империю народы (расы), и поэтому поляков отправляли служить в Сибирь, финнов и латышей – в Туркестан, а сибиряков – на польскую границу. ...я беседовал с несколькими молодыми людьми возле казарм Сибирского полка в Красноярске, которые приехали из таких отдаленных друг от друга районов, как Бессарабия, Кавказ и Архангельск. Тот же принцип лежит в основе организации политической ссылки. Это смешение рас из всех частей Империи приводит к разрушению расовых и религиозных барьеров (1912, р. 26-27).

Ср. также ремарку о политическом единстве трех основных, по Прайсу, этнических элементов в Сибири: «Под властью царя все они теперь объединены в одно политическое образование, хотя племенные различия между финнами, татарами и русскими все еще заметны» (1912, р. 181). Соответственно, в Сибири унифицированное административное устройство преобладает над этническим и религиозным разнообразием:

---

1 Автором также подразумевается, что и русскость в свое время станет частью европейскости / западности на пути единого прогресса.

Деление на группы (“racial castes”), основанные на религии, <...> не признаются в административных целях, за исключением евреев. Поляки, финны, латыши, армяне, грузины и татары в административных целях классифицируются в Сибири наряду с русскими в соответствии с их социальными группами, а не в соответствии с их расой и религией. Государственный статистический департамент часто публикует отдельный список татар и армян в некоторых районах Сибири, но они не рассматриваются как политическое образование (1912, р. 34).

Коренные жители Сибири в правительственной системе управления уравниваются с русскими крестьянами:

...абаканские татары тоже избирали старосту (“staresta”), или старейшину, и делились на большие общины, которые выделялись в степи, однако каждая община была объединена вместе с другими русскими общинами в волость, а те, в свою очередь, в участок. ...татарские старейшины встречаются с русскими старейшинами в волостном совете на основе полного равенства и обсуждают вопросы, представляющие общий интерес <...> коренные татарские и финские племена рассматриваются российской администрацией как местные общины, стоящие в одном ряду с русскими крестьянами (1912, р. 123–124); ...выделение коренных жителей – это всего лишь старое племенное деление, которое теперь включено в волости и административное деление русских колоний в Сибири. Эти туземные общины... находятся в равных условиях со своими русскими соседями (1912, р. 198).

Вообще, полиэтничность присуща репрезентациям многих топосов Сибири. Так, Прайс отмечает «космополитическое население» «высокогорных степей вдоль сибирско-монгольской границы» (1912, р. 141), «космополитическую толпу, состоящую из представителей всех мыслимых рас, которые... способны породить прилегающие районы Сибири и Монголии» (1912, р. 142). Беднейшую часть этнического состава этой «ничейной земли» — «в степях плоскогорья Кичи» — составляют «коренные татары», «ветвь алтайцев», «с высокими скулами и черными узкими глазами, свидетельствующими о немалой примеси турецкой (“Turkish” – тюркской?) и даже монгольской крови» (1912, р. 142). Их низкий социальный статус подчеркнут нарратором через мотивы маргинальности и периферийности жилья («Их лагеря <...> разбросаны по окраинам поселений»), мусора («кучи мусора», «грязь»), соположения образов собак и детей в мусорном локусе («рыскали и рычали собаки-изгои и... ползали и катались по земле местные дети»), болезни («больная кожа и кровоточащие раны», «болезни среди них»), наготы («частичное отсутствие одежды»), бедности и несчастья («беднейшая и несчастнейшая часть не очень процветающего сообщества») (1912, р. 142). В центре торговли они обменивают «шерсть и шкуры» на товары (1912, р. 142). Те «алтайские татары», что побогаче, имеют возможность перегонять «стада на лето в более высокие части степей», но «самые бедные» вынуждены «круглый год околачиваться в этих космополитических торговых центрах, где они могли зарабатывать себе на жизнь, частично завися от российских и китайских торговцев» (1912, р. 143).

Другую часть населения составляют «абаканские татары», «еще один тюрко-финский народ, прибывший из Сибири»<sup>1</sup> (1912, р. 143), которые либо сами торгуют шерстью, либо «служат русским торговцам» и, в отличие от «алтайских татар», подверглись «частичной русификации, что видно из формы домов, обычаев, религиозных образов, одежды и глуттонии, представляющих собой смешение татарского и русского элементов»:

Они... отказались от кочевой жизни в степях и перешли к оседлому образу жизни, занимаясь торговлей наравне с русскими. Их дома были построены из бревен шестиугольной формы, что свидетельствует о следах как русского, так и татарского влияния. Я зашел в один из таких татарских домов <...> Они были одеты в русскую одежду и сидели на низких скамьях вокруг стола в центре комнаты. Их пища, состоявшая из хлеба, супа и чая, была такой же, как у русских, и совершенно не походила на обычную пищу татар-кочевников. Покончив с трапезой, они перекрестились, что явно свидетельствовало о влиянии на них русификации. Но в форме их домов и скудости мебели все еще сохранялись следы старых татарских привычек (1912, р. 143); Это была бревенчатая хижина, не обычный русский дом, а восьмиугольная, и, по-видимому, имитирующая круглую войлочную юрту. Это был своего рода дом смешанного типа<sup>2</sup> который некоторые татары переняли из-за контактов с русскими. Построенный из того же материала, что и русские дома, он максимально имитировал круглую форму татарских юрт (1912, р. 53).

Сочетание западности и восточности в репрезентации этого народа актуализирует их сравнение с японцами: «Когда я смотрел на их смуглые татарские лица, русскую одежду и коротко стриженные волосы, я... вспоминал европеизированных японцев» (1912, р. 143). Ранее в тексте Прайс более подробно описывает русскость в одежде «обрусевших татар», одетых «точно так же, как русские» («рубаха (“tunic”), ремень, штаны (“breeches”), высокие сапоги и меховая шапка»), контрастирующую с азиатскостью внешности («но с маленькими и широкими лицами, черными глазами, слегка припухшими веками и прямыми черными волосами»), чья короткая стрижка, однако, воспринимается автором как знак западности (1912, р. 52).

При этом одна часть абаканских татар охарактеризована как «настоящие азиатские кочевники, живущие в своих юртах со своими стадами», «переезжающие с места на место» и использующие полурусские дома в качестве «зимнего жилища», а летом, во время кочевья, использующие «переносные войлочные шатры» (1912, р. 53). Другая же часть уже переходит к оседлой жизни и еще больше русифицируется, в том числе путем смешанных браков, причем подчеркнута, что как русские женятся на татарках, так татары женятся на русских девушках: «те татары, для которых дикая кочевая жизнь

1 Вообще, этнический состав коренного населения сибирско-монгольского лиминального пространства автор характеризует как смешанный, «финно-татарский»: «В диких, уединенных уголках этого пограничного региона до сих пор можно увидеть реликты еще более древней цивилизации, которая была вынуждена отступить перед нашествием казаков и монголов. Здесь, в густых лесах и степях плоскогорья, живут разрозненные племена финнов-кочевников и так называемых алтайских татар» (1912, р. 140).

2 Прайс использует словосочетание “mongrel house”, фактически – дом-метис,

со временем теряет часть своей привлекательности, приезжают в русские деревни, оседают и женятся на русских девушках, в то время как русские юноши... подбирают себе в жены татарских девушек из степей» (1912, pp. 52–53). Прайс лично отмечает наличие «метисов» как свидетельство того, что «некоторые» татары «даже вступили в смешанные браки с <русскими> поселенцами» (1912, p. 52).

Синкретизм подчеркнут и в верованиях абаканских татар, которые названы «полухристианами-полуязычниками», «нестрого отделенными в религиозном чувстве от русских» (1912, p. 153) и объединяющими в повседневной жизни христианство и язычество в зависимости от момента, обращаясь, когда им это удобно, то в церковь, то к шаману:

Эта любопытная смесь религиозных идей интересна тем, что показывает, как на самом деле происходит процесс русификации татар. Абаканские татары изначально были поклонниками сил природы (“nature-worshippers”), как и все коренные племена Сибири, <...> и пользовались помощью знахаря (“witch doctor”) <...> Но, вступив в контакт с русскими, они начали подражать их религии, и когда они обнаруживали, <...>, что шаманский доктор не помогает, они начинали молиться Богоматери в православной (“Greek”) церкви русской деревни (1912, p. 54).

В свою очередь, сибирские крестьяне также отмечены релятивизмом<sup>1</sup> в религиозных вопросах, когда речь идет о других народах:

«...они поклоняются Богу». «То есть вашему Богу?» – спросил я. «Да, иногда», – сказал он. «Значит, у них не один бог», – спросил я. «Когда кто-то в семье заболел, – ответил он, – тогда они приглашают шамана, чтобы изгнать злых духов (“bad devils”<sup>2</sup>). Когда у нас кто-то болеет, священник молится Богоматери; но у татарина шаман бьет в барабан, и болезнь проходит. Это его дело, а это наше дело, но неважно, когда они здоровы, они приходят в церковь (1912, p. 53–54); Бог создал христианство для меня, а мусульманство – для казанского татарина. Для абаканского татарина он тоже создал христианство, но если

1 В еще большей степени ослабление православной религиозности отмечено Прайсом у сибиряков, отдельными семьями проживающих по глухим местам сибирского фронта. При этом ослабление религиозности означает, согласно автору, и ослабление национальной идентичности, поскольку «у русских национальность – их религия, а их религия – их национальность, и когда одно ослабевает в силу естественных обстоятельств, другое тоже ослабевает» (1912, p. 165): «Он [русский сибиряк – авт.] склонен терять свои русские патриотические чувства и становится безразличным к православной вере. Ближайшая церковь находится примерно в сотне миль отсюда, за горами и лесами. Возможно, он не посещает это место в течение нескольких лет, а когда умирает, его хоронят без службы на маленькой, поросшей травой поляне за оградой, в которой он всегда жил, <...> Дети рождаются, но не крестятся, а браки заключаются только с согласия родителей. Изоляция породила не только апатию к национальной религии, но и склонность к суевериям, естественным для этой страны. Сибиряк в этом изолированном месте применяет имена христианских святых <...> к тем местам, которые он хорошо знает. Место, где соединяются две реки, называется местом Святых Петра и Павла, или место в долине, где <...> есть золото, называется местом святого Георгия Победоносцева [“Pobedonostseff” (так в тексте Прайса!) – авт.] <...> природа влетела в их религию, как и должно быть у всех тех, кто долгое время соприкасался с ней» (1912, p. 167), т.е. в некотором смысле алтайские татары, полуязычники, и часть сибиряков приходит к некому усредненному религиозному элементу.

2 Этот прайсовский плеоназм подразумевает оксюморон «добрых дьяволов», который, однако, де-факто не содержит противоречия в рамках синкретичных представлений полуязычников.

тот обнаружит, что его шаманский врач отгоняет дьявола и приносит ему пользу, пусть использует его, как мы используем нашего фельдшера» (1912, р. 54).

Этот релятивизм, по Прайсу, основан на чувстве «кротости» / толерантности и ощущении братскости различных людей как проявлении специфического русского гуманизма, позволяющего выйти за рамки этнорелигиозных делений, когда сибирский крестьянин заявляет, что русские и татары «все братья» (1912, р. 54):

Иногда татарин крадет у вас лошадей, но сейчас это случается реже, и те, кому нравится жить с нами в деревне, становятся одними из нас. В конце концов, мы братья (1912, р. 53).

Ту же братскость сибирский крестьянин проявляет по отношению к британцу Прайсу: «несколько добрых стариков-крестьян успокоили толпу и велели им не тесниться вокруг меня, потому что, по их словам, “в конце концов, он наш брат”» (1912, р. 95). Тесно связан с братскостью и мотив семейности в отношении Другого, характерный для жителей сибирско-монгольского фронта:

Во дворах я наблюдал, как русские и татарские дети играли в игры вместе, общаясь, как будто они были одной семьей. Как странно было это видеть! Как незначительна разница между русскими и татарами! (1912, р. 146).

В целом автор подчеркивает мирный характер колонизации и естественность процессов русификации коренных народов в Сибири. Русский маркирован в тексте «силой ассимиляции» (1912, р. 2), коммуникабельностью в отличие от «флегматичного англичанина» («Славяне — самые общительные существа» (1912, р. 10)); также отмечается «приспособляемость русских колонистов», воздействующая на лесные финские племена, «многие» из которых, вероятно, «будут социально ассимилированы и полностью смешаются с русскими», и на «татар Казани и Тобольска» (1912, р. 38). Последние маркированы как уже «политически ассимилированные» и отличающиеся «только религией», в отношении которой также «проявляется предельная терпимость» (1912, р. 38). Приспособляемость русских сибиряков означает здесь не только толерантность к Другому, но и способность усваивать отдельные черты Другого, сохраняя при этом свою национальную идентичность:

...жизнь сибиряка в субарктических лесах отнюдь не ограничивается торговлей пушниной с финнами. Он тоже... перенимает обычаи самоедов и остяков (1912, р. 138); Некоторые из этих туземцев имеют рыболовные запасы в определенных озерах, и здесь они применяют свою религию на практике, почитая эти воды священными для своих шаманских духов. Сибиряки уважают эти местные традиции, и поэтому рыбалкой здесь занимаются только местные жители, у которых сибиряки покупают рыбу (1912, р. 139); ...в течение XVIII и XIX столетий враждебность между двумя расами уменьшилась, и отношения между казаками и сибирскими торговцами, с одной стороны, и коренными финнами и татарами, с другой, стали более терпимыми, если не сердечными (1912, р. 197).

В целом взаимодействие русских и коренного населения изображено как диалог культур и взаимное влияние, что стало возможным, как пишет Прайс, в том числе благодаря динамическому сочетанию характеристик кочевничества (частного проявления восточности) и земледельчества, присущих в той или иной степени этносам, вступающим в межкультурное взаимодействие:

Будучи также кочевниками по натуре, казаки и торговцы часто перенимали привычки, а иногда и одежду местных жителей, в то время как, с другой стороны, местные жители часто подражали русским обычаям и даже местами проявляли признаки отказа от своей кочевой жизни. Многие татары, особенно в степях плоскогорья, еще до прихода русских занимались примитивным земледелием и сеяли щелок и просо. Тенденция к отказу от кочевой жизни и оседлости была особенно заметна в высокогорных степях Алтая, где в течение последнего столетия постепенно и почти незаметно происходила русификация татар. Политика русских повсюду была направлена на мирное проникновение (1912, р. 197).

В этом плане русские противопоставлены британцам по способу колонизации: «русские, по-видимому, обладают наиболее ценным для колонизации качеством, а именно: способностью смешиваться с покоренными расами, с которыми они вступают в контакт, и стирать расовые различия» (1912, р. 52); «Восточный славянин рожден для покорения и ассимиляции азиатских рас, потому что по характеру и привычкам он сам настолько азиат, что может фактически поглощать своих соседей, причем ни поглощающий, ни поглощаемый не осознают этого процесса» (1912, р. 146). Выше мы приводили цитату о мягком отношении русского торговца к представителям других народов, что в корне отличается «от властного тона британского колониста или британского солдата в восточной колонии»<sup>1</sup> (1912, р. 149). Прайс также затрагивает тему помощи русских колонистов местным жителям, которых русские колонисты спасали от голодной смерти, благодаря чему смогли завоевать доверие и наладить с ними торговые контакты:

Когда я впервые приехал сюда, <..> мы очень редко видели местных жителей. Они весь год прятались в лесу, как будто боялись нас. Их состояние было очень тяжелым, <...> однажды зима была очень суровой, и многие из них умерли от холода и голода. У племени, которое мы видели с сорока шатрами, на следующий год осталось только двадцать. Постепенно они стали приходить к нам, и мы давали им муку, чай и сахар, когда они голодали зимой, а они давали нам шкурки и соболей, которых они поймали осенью. Теперь они приходят регулярно и отдают нам свои меха в обмен на те товары, которые мы привозим

1 Еще более явно оппозиция «русская колонизация — британская колонизация» с подчеркиванием мотива братскости русского по отношению к Другому выражена у Рида: «по всей России между всеми... больше семейных или братских чувств, чем в англоязычных сообществах. <..> братский или семейный настрой <...>, по-видимому, помогает русскому ассимилироваться с азиатским населением, с которым он встречается» (Reid, 1989, р. 148); «английские колонисты... быстрее бы заселили Сибирь, они развили бы ее быстрее, но... они не ангажировали бы туземцев так, как их русифицировали русские, и, конечно, англ-саксонские поселенцы никоим образом не подверглись бы влиянию татарских рас, как русские поселенцы» (1899, pp. 270–271).

из-за пределов фронта. Теперь у них никогда не бывает голода... (1912, р. 164); ...сибирские торговцы во многих местах спасали туземцев от голодной смерти, потому что в старые времена в суровые времена года голод и эпидемии косили их ряды (1912, р. 200).

Разумеется, не везде мирное сосуществование было возможным, не все местные племена желали вступать в диалог культур, но и в этом случае Прайс замечает, что, во-первых, то коренное население, которое не хотело взаимодействовать с русскими, откочевывало на незанятые территории: «татары, которые не хотели идти на компромисс с новыми условиями, уходили на юг, в киргизские степи, или на юго-восток, к Алтайским плоскогорьям, или на северо-запад, в субарктические леса» (1912, р. 198). Во-вторых, правительство стало ограничивать русскую колонизацию на некоторых землях: «во времена Екатерины Великой большие участки земли были выделены в качестве местностей для коренного населения, где русские не могли колонизировать территорию и где туземцы могли иметь свою собственную землю, не опасаясь беспокойства» (1912, р. 198).

Автор разграничивает толерантное поведение русских сибиряков по отношению к коренным народам и действия правительства / местной администрации, которые облагали в прошлом последних большими налогами и не боролись с эксплуатацией аборигенов, что, впрочем, признается типичным способом действия любой метрополии по отношению к колонии. Кроме того, Прайс замечает, что ситуация в Сибири в том, что касается отношения властей к коренному населению, меняется к лучшему:

В девятнадцатом веке существовала жестокая экономическая эксплуатация, как это происходит в любой стране (не исключая и Британскую империю), где коренные жители составляют меньшую и более слабую часть населения. Невежественных и неискушенных, их безжалостно обманывали; их меха забирали у них даром или отдавали в обмен на брикет некачественного чая. <...> В последние годы усилия российского правительства были более успешными, и сибирские торговцы сами предприняли меры по предотвращению продажи спиртных напитков местным жителям (1912, р. 199 -200).

Таким образом, британец констатирует отсутствие национального вопроса в Сибири в отличие «от других частей Российской Восточной империи» (1912, р. 200), хотя остается на позициях моноцентрической картины мира, где отдельные этносы не могут сосуществовать мирно, а один должен неминуемо быть поглощен другим, а этнокультурные особенности Другого должны со временем сгладиться, как это происходит в Западной Европе. Поскольку последняя служит для автора эталоном, именно так, по его мысли, и должно происходить в России и, в частности, в Сибири. Здесь вновь действует отмеченная нами ранее логика «обработки человеческого материала», где азиат есть «заготовка» для европейца, который обладает правом судить Другого, оценивать его по степени «пригодности», «соответствия» целям прогресса, заданным Западом целям, что граничит с идеями социаль-

ного дарвинизма: «Те туземцы, которые не будут поглощены, вероятно, со временем вымрут из-за своей естественной непригодности (“natural unfitness”), в то время как те, кто... будет поглощен, вероятно, добавят новый и ценный элемент в славянскую расу» (1912, р. 200).

При этом, по Прайсу, в отличие от условий Западной Европы, «где расовые различия стираются из-за неуклонного роста международной торговли и финансов», русская национальная идентичность должна выражаться сильнее и прилагать больше усилий для самосохранения в условиях «соседства» с «желтым» и «мусульманским» народами (“races”) Центральной Азии, «от которых» русскость «отделяют радикальные расовые и религиозные различия» (1912, р. 84).

Возвращаясь к этнической характеристике космополитического сибирско-монгольского фронта, отметим маркированность проживающего здесь русского сибиряка («типа жителя сибирского пограничья» (1912, р. 142)) как «представителя Европы» (1912, р. 143), образ которого, однако, острен мотивами ориентализации и татарскости, то есть связью с Востоком:

Он казался настолько поглощенным своим окружением, что, хотя внешне все еще был европейцем, его жизнь и привычки были гораздо более азиатскими. В этом месте... татары обрусевали, а русские, по крайней мере, в какой-то степени, становились татарами (1912, р. 144).

Степень восточности русских торговцев также различна. По Прайсу, выше она у тех, кто постоянно проживает во фронтальном пространстве, что отражено в образе их домов, крыши некоторых из которых покрыты «тростником, в частичной имитации китайских домов» (1912, р. 144). Впрочем, внутри дома русскость выступает как форма европейскости через образы внешности, предметов обстановки, одежды, глуттонии<sup>1</sup>, как и при описании абаканских татар:

Я <...> наконец-то нашел что-то, что снова указывало на европейскую жизнь. Там были деревянный стол и стул, самовар с чаем, печь <...>, европейская одежда, белокожие лица и голубые добрые глаза русской домохозяйки. Представители этого класса сибирских пограничных торговцев... не сильно утратили свой русский характер и, хотя они постоянно общались с татарами на равных, тем не менее сохраняли материальные удобства русской крестьянской жизни. <...> сибиряк должен есть капустный суп, мясо, сушеные сухари и коричневый хлеб, и где бы вы его... ни нашли, вы также увидите некоторые признаки европейской цивилизации (1912, р. 145).

Китайская антропность в варианте китайских торговцев также присутствует на фронтире, причем особо отмечено ее недавнее появление здесь, по-видимому, как следствие вышеупомянутых геополитических изменений:

Семь лет назад, как уверял меня один русский, в этом месте не было ни одного китайца, но теперь появилось с полдюжины маленьких магазинчиков,

1 Глуттония в целом выступает маркером национальной идентичности в тексте Прайса, где татарскость маркирована образами «молока и баранины», а экономная китайскость — «чаем и одной-двумя порциями риса в день», а также доставляемыми по случаю «деликатесами из Центрального Китая», которыми довольствуются китайские торговцы на фронтире (Price, 1912, р. 145).

построенных из сырцового кирпича, что свидетельствует о недавней активности китайцев в западной части Поднебесной. В... магазинчиках можно было купить китайский кирпичный чай, шелк и другие изысканные изделия из цветочной страны, а за прилавком, скрестив ноги, сидели луноглазые небожители, готовые обменять свои товары (1912, р. 146).

Образ китайца в травелогe мифологизирован, маркирован мотивами максимальной восточности (в отличие от вышеупомянутых японцев), таинственности, странности, чужести по отношению к европейскому, в том числе русскому, началу, а также бережливости и работоспособности: «загадка Востока — китаец»; «странными и таинственными выглядели эти люди»; «Я инстинктивно тяготел к русскому, потому что его я знал и мог понять, тогда как о китайце я не знал ничего»; «он, в самом дальнем уголке своей империи, такой же, как всегда, трудолюбивый, бережливый и самый загадочный» (1912, р. 146). Прайс чувствует больше близости не только с частично обрусевшими (абаканскими) татарами, «чьи взгляды на жизнь, ее удобства и заботы не слишком отличались от» русских, но даже с «несчастливыми местными татарами (по контексту, видимо, алтайскими татарами — авт.)», «которые в социальном плане выглядели не лучше собак-париев, бродящих «вокруг их палаток» (1912, р. 147). Однако китайцы остаются закрытыми, чужими для нарратора; более того, единственный раз в тексте испытываемое им чувство превосходства над другими народами в случае с китайцами покидает его, что, возможно, имплицитно обусловлено осознанием древности / мудрости китайской цивилизации:

...китаец был совсем другим человеком. Будучи обособленной социальной загадкой, он, возможно, стоял на более высоком уровне, чем любой из нас (1912, р. 147).

Сходную рефлексию китайских национальных особенностей Прайс приписывает и русским: «Как... заметил... один русский торговец <...>: “Эти китайцы! С ними невозможно жить, они слишком много знают”» (1912, р. 147).

Своего рода этнический «калейдоскоп» также представлен в сценах поездки автора вместе с русскими торговцами шерстью по сибирско-монгольскому фронтиру. Первым из них было путешествие к летнему стойбищу алтайских татар на «высокогорных альпийских лугах» (1912, р. 147), вызывавшее у автора аналогию с английскими цыганами:

Это было очень похоже на табор английских цыган. Здесь жили темнокожие люди, которые вели кочевой образ жизни в круглых войлочных палатках, точно таких же, какие можно увидеть в цыганском таборе на лужайке английской деревни (1912, р. 148).

В то же время Прайс рассматривает этих алтайцев через призму военно-номадического наследия, что актуализирует комплекс негативных оценок, связанных с мотивами непривлекательной (явно монголоидной, неевро-

пейски-чужой) внешности, а также ужаса и насилия, ассоциируемых с завоеваниями кочевников<sup>1</sup>:

Круглолицый (“squat-faced”) маленький мужчина с широкими скулами и глазами-щелочками, одетый в грубую овчину, подошел к двери шатра. Он был уродлив. Сначала его вид вызвал у меня отвращение, особенно когда я подумал о том ужасе, который эти люди когда-то вселяли в сердца людей, когда они пронеслись по Азии и разграбили Европу (1912, р. 148).

Впрочем, Прайсу удается преодолеть стереотипность восприятия, противопоставляя негативный образ пространства исторической памяти современному образу татар как «безобидных, мирных пастухов» (1912, р. 148). Здесь в татарском доме хозяин и русский торговец общаются «на турецком диалекте» (“a Turkish dialect”), поскольку «русский язык был бесполезен как средство общения» с местными татарами, что служит для автора наглядным примером того, «как легко русские ладят с коренными татарами» и «завоевывают уважение азиатских народов, как никто другой», разговаривая «с ними на их родном языке у их собственных очагов», ночуя «в их палатках», «лично» ведя «с ними дела», то есть русский торговец «без труда приспособился к татарину» (1912, р. 149) благодаря вышеупомянутой русской приспособляемости / адаптивности. Как подчеркивает Прайс, «в отличие от британского колониста», который, как подразумевается, не может близко сходить с местным населением и уменьшать социальную дистанцию между собой и ним, предпочтение, отдаваемое русским торговцем русской общине, обусловлено в большей степени «экономическими причинами», а не «социальными», причем «в социальном плане он не имеет ни малейшего возражения против общения и проживания с татарами ради тех материальных выгод, которые он получает от торговли с ними» и «даже вступает с ними в брак, если не может найти подходящую ему русскую девушку» (1912, р. 150).

Во время другого путешествия на маленькую пограничную торговую станцию Прайс попадает в дом еще одного торговца шерстью, к которому, будучи окружен татарами, то есть чужой антропностью, начинает испытывать братские чувства, поскольку сибиряк все-таки европеец: «Окруженный первобытными кочевниками, чьи социальные идеи я не мог понять, я чувствовал, что сибиряк — мой брат» (1912, р. 151). Здесь же автора ожидает встреча с «приятным и несколько космополитичным сборищем» (1912, р. 151), демонстрирующим полиэтничность фронта — «интереснейшую коллекцию представителей разных рас и национальностей», включая русских торговцев шерстью, работающих на них «двух абаканских татар из Центральной Сибири» и «местного татарина» (алтайца), а также «двух казанских татар», являющихся торговцами шерстью и едущих в Монголию, наконец, одного «холерного китайца», который, однако, маркирован отграниченностью от общей

1 Прайс напрямую не связывает образ этих кочевников с определенным историческим нашествием. Можем лишь засвидетельствовать, что в своем очерке по истории Сибири автор упоминает, что «к одиннадцатому веку хан хунну / гуннов (?) (“Hunni”) приобрел власть над всеми районами Алтая» (1912, р. 170).

русско-английско-татарской компании («само собой разумеется, он не присоединился к нашему веселью»<sup>1</sup> (1912, р. 152)). Объединяющими элементами этойokkaзиональной полиэтничности выступают русский язык и алкоголь:

...мы прониклись патриотизмом <...>, а также произнесли импровизированные речи на русском языке, восхваляя национальность друг друга. Так мы провели вечер, русские, татары и англичанин, принося жертвоприношения в святилище Бахуса (1912, р. 148).

Три типа татар, наблюдаемые Прайсом в доме русского торговца, служат автору для выделения разной степени русификации нерусского населения. В наибольшей степени сближение разнородных этнокультурных элементов проявляется в образе казанских татар:

...за исключением бритых голов, тубетеек и маленьких остроконечных бородок, придававших им слегка турецкий вид, их никто бы не отличил от сибиряков. По привычкам и манерам они были полностью русскими, и их строгая приверженность исламу не помешала им в тот вечер преломить с нами хлеб <...> Казанские татары за столетия контактов с русскими в Европе впитали в себя славянскую цивилизацию... (1912, р. 153–154).

Далее по степени русификации идут абаканские татары, не сильно отличающиеся от русских: «социальный, расовый и религиозный барьер между ними был очень незначительным»; менее же всего русифицированы алтайцы: «Последние, хотя и постоянно общались с сибирскими жителями границы, тем не менее до сих пор не утратили своих татарских привычек кочевников» (1912, р. 152).

Подчеркнем, что полиэтничностью отличается пространство не только сибирско-монгольского фронта, но и городов Сибири. Так, в Красноярске среди русских торговцев, старателей и золотодобытчиков Прайс подмечает еврейских торговцев мехом, а также «обрусевшего татарина», «желтокожего мужчину с узкими глазами, одетого в русские меха и высокие сапоги», что придает толпе «азиатский характер» (1912, р. 19). По поводу Ачинска отмечены «разные национальности» встреченных автором торговцев; в частности, он знакомится здесь с вышеупомянутым греческим торговцем родом из Турции (1912, р. 41). На ярмарке в Минусинске описан «большой набор

1 Ср. также ремарку о разрыве межкультурной коммуникации (как маркере чужести) между китайским торговцем и английским путешественником: «Я чувствовал, что между нами пропасть, которую я не могу преодолеть, как бы я ни старался. Я не мог сочувствовать ему так, как сибиряку, живущему напротив» (1912, р. 156). Кроме того, подчеркивается разница между цивилизованным китайцем, воплощающим в себе Восток как Чужое, и сибиряком — наивным дикарем, в образе которого Восток европеизирован, частично освоен и понятен для британца; наконец, отмечено возникновение невольного чувства превосходства китайца над всеми некуитайцами, включая англичан, что непривычно и, видимо, обидно для Прайса: «Китаец — не такое дитя природы, как сибиряк. <...> у меня возникло неприятное ощущение, что китаец представляет более высокий тип цивилизации, чем сибиряк, что унижительно для меня, который мог ассоциировать себя только с последним» (1912, р. 156); «Уровень китайской цивилизации, социальный и экономический, был непохож ни на что, что я когда-либо видел прежде во время своих путешествий, и... свидетельствовал о высокоразвитой и культурной расе, обладающей поразительной силой и энергией, с которыми более примитивному сибиряку очень трудно конкурировать» (1912, р. 157).

местных типов»: «здесь были сибирские крестьяне, казанские татары, абаканские татары и казаки» (1912, р. 64). В городе проживают евреи, которые «занимаются мехами», поступающими из Монголии (1912, р. 77), и «польский парикмахер» (1912, р. 78). При этом «славянская цивилизация» названа в Минусинске «преобладающей» (1912, р. 78), а мусульмане, казанские и тобольские татары, — «меньшинством» (1912, р. 80), имеющим «мало отличных <от русских> привычек» (1912, р. 80), имитирующим «социальные привычки русского соседа» (1912, р. 78). В описании этих татар автор прибегает к приему остранения, подчеркивая, что они несколько не похожи на стереотипное ориенталистское представление о татарине, имевшееся у англичанина, а также акцентируя уже отмеченный мотив терпимости народов Сибири:

...я ожидал увидеть какого-нибудь старого татарского «хаджи» в тюрбетейке и тюрбане, сидящего с перекрещенными ногами на возвышении, окруженного коврами и молитвенными ковриками и сопровождаемого женщинами из гарема в чадрах. Но я был разочарован. Вместо этого я нашел русский бревенчатый дом. Комната внутри была обставлена столами и стульями, там стоял самовар с чаем и русская еда, а семья носила русскую одежду и говорила по-русски, называя друг друга обрусевшими татарскими именами, такими как «Исламов», «Ахметов». На самом деле, благодаря постоянному контакту с русскими, хотя и без какой-либо систематической русификации со стороны официальных органов, эти татары постепенно теряли свои национальные особенности. Но их религия по-прежнему сильна, поскольку, с одной стороны, русские не предпринимают попыток обратить их в свою веру, а с другой, — татары не проявляют никаких признаков отхода от своей старой веры. Русские христиане и татары-мусульмане в Сибири, как и в древней Руси, взаимно уважают религию друг друга (1912, р. 80).

Из представителей других национальностей Прайс также встречает в Сибири «киргизского татарина»-кочевника в степи, неподалеку от Петропавловска на реке Ишим (1912, р. 9), и колониста — «латыша из балтийской провинции» — в «диком месте у истоков Енисея» (1912, р. 162), семья которого также подверглась частичной русификации:

...я представил, что снова нахожусь в Финляндии или Скандинавии. Я с интересом наблюдал за различными мелкими признаками латышской национальности этой семьи. Однако в некоторых отношениях они обрусели из-за постоянного общения с сибиряками (1912, р. 163).

## Выводы

В целом специфический взгляд Прайса на Сибирь и населяющие ее народы обусловлен комплексом культурных установок, среди которых можно выделить черты колониализма, ориентализма и западоцентризма, а также идеи эпохи Просвещения. В последнем случае речь идет, с одной стороны, об идее линейного прогресса как магистрального пути развития человечества, на который разные этносы обязательно вступают и, соответственно, соревнуются друг с другом в прогрессивности, что порождает

оценочность и иерархичность во взгляде на себя и Другого, а с другой — о руссоистской идее естественного человека, наивного дикаря, более счастливого в своем невежестве, чем цивилизованные люди. При этом следует подчеркнуть, что эти цивилизованные люди, хотя и могут восхищаться дикарем, любить отдельные проявления его характера и сентиментально вздыхать по архаике, никогда не стремятся в прямом смысле соединиться с дикарем, стать Другим. Кроме того, в травелоге мы встречаем отголоски не расизма, а социального дарвинизма, когда менее прогрессивный (с позиций западного прогресса) элемент должен быть поглощен более прогрессивным, а также менее просвещенный индивид до некоторой степени уподобляется животному, то есть частично дегуманизируется, представляя собой «заготовку», «грубую материю», которая должна быть возвышена через дух просвещения. Весь этот комплекс культурных паттернов проецируется на образы сибирских (и не только) народов.

Соответственно, пространство России и Сибири как ее части рассматривается автором через призму оппозиции «Запад — Восток», где западность, представленная прежде всего образом Западной Европы, выступает цивилизационным эталоном, проявленность свойств которого начинает падать по мере продвижения по России на Восток. Российская империя выступает здесь топосом смешения Запада и Востока, где восточность, являющаяся фактически недозападностью, тем, что должно быть обработано по западным лекалам, проявляется стадильно: меньше в Петербурге, больше в Москве, еще больше в приволжских степях, далее на Урале и постепенно достигает максимума в Сибири. Причем в Сибири она тоже актуализирована неоднородно. Меньше восточности в агрикультурной полосе как территории расселения русских (славян в терминологии Прайса), в относительно крупных городах, например, Красноярске и Минусинске, которые имеют черты западности или псевдозападности, симулякра, подражания форме, но не духу Запада. На условно северных и южных фронтах, где русская антропность выражена слабее, меньше и западности. Недозападность как недоцивилизованность актуализирована в мотиве детскости, маркирующем население Сибири и связанном с руссоистским образом наивного дикаря.

Русскость в Сибири выступает в тексте Прайса в основных социокультурных вариантах сибирской буржуазии (торговцы, разбогатевшие старатели и т.п.), часть из которых, очевидно, разделяет идеи областничества, массе крестьян-сибиряков, обитающих в рамках замкнутого мира общин-колоний, и жителях фронта — одиночках, торговцах, охотниках и рыбаках, оторванных от своих общин и действующих на собственный страх и риск. При этом, хотя Прайс отмечает большую независимость всех сибиряков по сравнению с русскими европейской части империи, именно жители фронта представляют для него, британца, наиболее предпочтительный тип сибиряка в силу ярко выраженной в нем тяги к независимости, что соответствует английскому идеалу *self-made-man*'а и, следовательно, позволяет пере-

носить на данный подтип русского сибиряка маркер западности в его северо-европейском (норвежскость / шведскость) или североамериканском (канадскость) изводах. Кроме того, следует отметить, что, помимо цитирования областнического нарратива о Сибири для сибиряков, сам автор подводит читателя к мысли, что Сибирь есть колониальное пространство, а сибиряк — особый тип, фактически находящийся в процессе становления субэтнос в интерпретации иностранного путешественника, то есть пространственная метафора «Сибирь — это Канада» разворачивается здесь в мотив становления новой идентичности, поскольку канадец также отделяет себя от жителей «старой земли», метрополии.

Нерусская антропность представлена Прайсом как сибирская финскость (племена-реликты северных лесов, занимающиеся охотой, рыболовством и оленеводством), татарскость (этносы либо кочевников-киргизов, либо перешедших к оседлому образу жизни тобольских и томских татар) и, наконец, смешанная финско-татарская человеческая представленность, связанная, в частности, с пространством Алтая. Монгольскость как этнический компонент пространства Сибири автором практически игнорируется.

Указанные этнические группы характеризует различная степень русификации, то есть сближения с русской культурой. В наибольшей мере, по Прайсу, русифицированы томские и тобольские татары, сохранившие, однако, приверженность исламу; сближением с русским элементом отмечены и абаканские татары, изображенные как полухристиане-полуязычники. Между этими татарами и русскими колонистами отмечены также межэтнические браки. В наименьшей же степени интегрированы в русскую культуру кочевники Алтая, киргизы и финские племена субарктического пояса.

При этом Прайс отмечает мирность, адаптивность, братскость и семейность по отношению к Другому (в бытовых и религиозных вопросах) в качестве особенностей русского элемента в Сибири, что подчеркнуто на контрасте с британским способом колонизации и взаимодействия с жителями колоний. Этнические эксцессы изображены как минимальные и связанные прежде всего с эксплуатацией местного населения государством. Прайс объясняет эту способность русских легко вступать в межкультурную коммуникацию с «азиатским» населением Сибири тем, что русские сами носят в себе азиатскость, тогда как британцы, как подразумевается, являются носителями чистой западности, не желающей смешиваться с Другим. Последнее ощущается при чтении травелога, когда автор заявляет о своей невозможности понять азиатов. С другой стороны, он проникается чувством братскости по отношению к русским сибирякам, так как маркирует их носителями европейскости / западности. Теоретические рассуждения о космополитичности сибиряков дополнены личными наблюдениями Прайса за жизнью гетерогенных в этнокультурном аспекте топосов Сибири, в частности сибирских городов и сибирско-монгольского фронта.

В наибольшей степени коммуникативный разрыв между Западом и Востоком актуализирован в сценах с китайской антропностью, которая мифологизирована и маркирована закрытостью, загадочностью, древностью, высокой цивилизованностью и чужестыю. Китаец для Прайса не просто Другой, но фактически Чужой, с которым невозможно иметь дело. Причем древность китайской цивилизации не позволяет британцу смотреть на нее свысока, как это он делает по отношению к русским, а в еще большей степени – к коренному населению Сибири. Таким образом, китайскость, в отличие от той же японскости, которая подана как продукт вестернизации Востока, есть Восток абсолютный, ни с чем не смешанный, то есть полная противоположность Запада, не могущая быть помысленной западным человеком в качестве части Запада. Кроме того, образ Китая на границах Российской империи осложнен историко-политическим контекстом проигранной русско-японской войны, которая ослабила русские позиции в данном регионе по сравнению с концом XIX века.

В целом репрезентация этнических образов Сибири в тексте Прайса носит типизированный и схематичный характер, хотя отмечены также отдельные случаи остранения, деконструирующие этнические стереотипы.

### Финансирование

---

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 25-28-20397 «Межнациональные отношения в Сибири в рецепции европейских путешественников конца XIX – начала XX вв.», <https://rscf.ru/project/25-28-20397/>

This research was supported by a grant from the Russian Science Foundation (No. 25-28-20397) titled “Interethnic Relations in Siberia as Perceived by European Travelers in the Late 19th and Early 20th Centuries,” <https://rscf.ru/project/25-28-20397/>

### Список литературы

---

- Alekseev, P. V., Alekseeva, A. A., & Boone, P. (2020). Remembering India: Southern Altai in Harold Swayne’s travelogue. *The World of Science, Culture and Education*, 3, 558–559. <https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00654>
- Byrne, S. (2022). *Glimpsing the Great Gobi: British Agents and other travelers in Mongolia from 1715 to 1935. A log of seventy British travelers who left a written or visual account of their visit to Mongolia*. Yubunsha.
- Ozola, D., & Burima, M. (2023). Geopolitical Discourse in Contemporary Latvian and American Travel Narratives. *Journal of Frontier Studies*, 8(2), 291–312. <https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.418>
- Price, M. Ph. (1912). *Siberia*. Methuen & Company.

- Reid, A. (1899). *From Peking to Petersburg*. Edward Arnold.
- Абрамов, И. В. (2020). Шесть лет в Сибири (о травелогге Сигерта Патурссона «От Фарер до Сибири»). *Уральский исторический вестник*, 67(2), 142–145. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-2\(67\)-142-145](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-2(67)-142-145)
- Аверкина, С. Н., Курмелев, А. Ю., & Логинова, А. А. (2023). Миф о Сибири в записках о Тобольске Августа фон Коцебу и Травелогге Адольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». *Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова*, 64, 270–281.
- Алексеев, П. В. (2024). Горный Алтай как «внутренний Восток России» в английских травелогах второй половины XIX – начала XX вв. *Журнал Фронтальных Исследований*, 9(4), 15–36. <https://doi.org/10.46539/jfs.v9i4.558>
- Даниш, М. (2016). Словакия и Россия в записках словацких и российских путешественников XVIII века. *Запад - Восток*, 9, 36–44.
- Деминова, М. А., Халина, Н. В., & Янчевская, К. А. (2024). Образ сибирского города в германском травелогге XIX века (по страницам «Путешествия в Западную Сибирь» Отто Финша). *Филологические науки. Научные доклады высшей школы*, 1, 64–70. <https://doi.org/10.20339/PhS.1-24.064>
- Ершов, М. Ф. (2021a). Вне цивилизации: Восприятие аборигенов Северо-Запада Сибири в XIX – начале XX в. *Люди империи – империя людей: персональная и институциональная история Азиатских окраин России*, 201–210. <https://doi.org/10.52468/978-5-7779-2573-2.2021.201-210>
- Ершов, М. Ф. (2021b). Социокультурные контакты иностранных путешественников на Тобольском Севере в XIX – начале XX века. *Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология*, 31(1), 124–130. <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2021-31-1-124-130>
- Ланца, Д. (2019). Образы Сибири в культуре Европы. *Культура в евразийском пространстве: традиции и новации*, 1, 77–82. <https://doi.org/10.32340/2514-772X-2019-1-77-82>
- Макурин, А. И. (2024). Женский авантюрный травелог: Путешествие американки Хелен Ли по Сибири. *Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии*, 9(2), 5–13. <https://doi.org/10.47475/2542-0275-2024-9-2-5-13>
- Мароши, В. В. (2018). Глазами художника: Горный Алтай в травелогге Т.У. Аткинсона. *Культура и текст*, 4, 181–198.
- Мароши, В. В. (2021). Алтай романтический и готический в травелогге Т. У. Аткинсона. В Е. Е. Дмитриева, П. В. Алексеев, & М. Эспаня (Ред.), *Сибирь как поле межкультурных взаимодействий: Литература, антропология, историография, этнология* (с. 343–365). Азбуковник.
- Меднис, Н. Е. (2011). *Поэтика русской литературы. Языки славянской культуры*.
- Мингати, А. (2018). Путешествие по транссибирской магистрали: «сибирский текст» в итальянских травелогах. *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки*, 5, 82–91. <https://doi.org/10.17238/issn2227-6564.2018.5.82>
- Нечипорук, Д. М., & Горелко, А. В. (2024). Открывая Россию: Научные экспедиции Генри Сибоба в Российскую империю. *Вестник Сургутского государственного педагогического университета*, 6, 105–111. <https://doi.org/10.26105/SSPU.2023.87.6.011>

- Новикова, Н. Н. (2022). Мифологема Сибири в романе Бернхарда Шлинка «Возвращение» (“Die Heimkehr”). *Военно-гуманитарный альманах. Серия «Лингвистика»*, 2(7), 355–357.
- Олицкая, Д. А. (2018). Образы Сибири в немецкой паралитературе XIX и XX вв. *Текст. Книга. Книгоиздание*, 18, 44–64. <https://doi.org/10.17223/23062061/18/3>
- Останина, М. А. (2019). Путевые заметки Джона Белла о поездке через азиатское пространство (1719–1721 гг.) как источник материалов о Сибири в Европе и России в 18–19 веках. *Мир науки, культуры, образования*, 2, 571–574.
- Останина, М. А., & Шастина, Т. П. (2018). Английская леги в “wild space” Сибири (по книге Mrs. L. Atkinson “Recollections of Tartar steppes and their inhabitants”). *Studia Litterarum*, 3(3), 64–81. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2018-3-3-64-81>
- Панарина, Д. С. (2013). Мифы и образы сибирского фронта. *Культурная и гуманитарная география*, 2(1), 39–52.
- Прожорин, Е. Л. (2020). Репрезентация Сибири XIX в. В травелоге Дж. Симпсона. XIV Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых ученых: материалы Всероссийской научной конференции, 186–191.
- Сенюхин, А. А. (2020). Образы Сибири в английских и американских травелогах рубежа XIX–XX вв. *Исторический журнал: научные исследования*, 6, 107–115. <https://doi.org/10.7256/2454-0609.2020.6.34114>
- Тайманова, Т. С. (2015). Сибирь Доминика Фернандеза: Травелог и место памяти. *Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина*, 1(4), 82–88.
- Шиловский, М. В. (2021). Судьба сибирской цивилизации. *Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность*, 6(1), 45–48. <https://doi.org/10.25206/2542-0488-2021-6-1-45-48>

## References

---

- Abramov, I. V. (2020). Six Years in Siberia (On Sigert Patursson’s Travelogue “From the Faroes to Siberia”). *Ural Historical Journal*, 67(2), 142–145. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-2\(67\)-142-145](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-2(67)-142-145) (In Russian).
- Alekseev, P. V. (2024). The Altai Mountains as the ‘Inner East of Russia’ in English Travelogues from the Second Half of the 19th to the Early 20th Centuries. *Journal of Frontier Studies*, 9(4), 15–36. <https://doi.org/10.46539/jfs.v9i4.558> (In Russian).
- Alekseev, P. V., Alekseeva, A. A., & Boone, P. (2020). Remembering India: Southern Altai in Harold Swayne’s travelogue. *The World of Science, Culture and Education*, 3, 558–559. <https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00654>
- Averkin, S. N., Kurmelev, A. Yu., & Loginova, A. A. (2023). The myth of Siberia in August von Kotzebue’s notes on Tobolsk and Adolf de Custine’s travelogue Russia in 1839. *Bulletin of the N. A. Dobrolyubov Nizhny Novgorod State Linguistic University*, 64, 270–281. (In Russian).
- Byrne, S. (2022). *Glimpsing the Great Gobi: British Agents and other travelers in Mongolia from 1715 to 1935. A log of seventy British travelers who left a written or visual account of their visit to Mongolia*. Yubunsha.
- Danish, M. (2016). Slovakia and Russia in Notes of Slovak and Russian Travelers of the XVIII Century. *WEST – EAST*, 9, 36–44. (In Russian).

- Deminova, M. A., Khalina, N. V., & Yanchevskaya, K. A. (2024). The image of the Siberian city in a German travelogue of the 19 century (based on the pages of Otto Finsch's "Travels to Western Siberia"). *Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education*, 1, 64–70. <https://doi.org/10.20339/PhS.1-24.064> (In Russian).
- Ershov, M. F. (2021a). Beyond Civilization: Perception of the Aborigines of Northwest Siberia in the 19th – Early 20th Century. *People of the Empire – Empire of People: Personal and Institutional History of Russia's Asian Periphery*, 201–210. <https://doi.org/10.52468/978-5-7779-2573-2.2021.201-210> (In Russian).
- Ershov, M. F. (2021b). Socio-Cultural Contacts of Foreign Travelers in the Tobolsk North in the XIX – the Beginning of the XX Centuries. *Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology*, 31(1), 124–130. <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2021-31-1-124-130> (In Russian).
- Lanza, D. (2019). Images of Siberia in European Culture. *Culture in the Eurasian Space: Traditions and Innovations*, 1, 77–82. <https://doi.org/10.32340/2514-772X-2019-1-77-82> (In Russian).
- Makurin, A. I. (2024). Women's Adventurous Travelogue: American Helen Lee's Journey Through Siberia. *Magistra Vitae: An Electronic Journal on Historical Sciences and Archeology*, 9(2), 5–13. <https://doi.org/10.47475/2542-0275-2024-9-2-5-13> (In Russian).
- Maroshi, V. V. (2018). Painter's Look: Altai Mountains in T. W. Atkinson's Travelogue. *Culture and Text*, 4, 181–198. (In Russian).
- Maroshi, V. V. (2021). Altai: Romantic and Gothic in T. U. Atkinson's Travelogue. In E. E. Dmitrieva, P. V. Alekseev, & M. Espanya (Eds.), *Siberia as a Field of Intercultural Interactions: Literature, Anthropology, Historiography, Ethnology* (pp. 343–365). Azbukovnik. (In Russian).
- Mednis, N. E. (2011). *The Poetics of Russian Literature*. Languages of Slavic Culture. (In Russian).
- Mingati, A. (2018). A Journey on the Trans-Siberian Railway: The Siberian Text in Italian Travel Books. *Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series «Humanitarian and Social Sciences»*, 5, 82–91. <https://doi.org/10.17238/issn2227-6564.2018.5.82> (In Russian).
- Nechiporuk, D. M., & Gorelko, A. V. (2024). Discovering Russia: Henry Seebom's Scientific Expeditions to the Russian Empire. *Surgut State Pedagogical University Bulletin*, 6, 105–111. <https://doi.org/10.26105/SSPU.2023.87.6.011> (In Russian).
- Novikova, N. N. (2022). The mythologem of Siberia in Bernhard Schlink's novel *Die Heimkehr* (The Return). *Military-Humanitarian Almanac. Linguistics series*, 2(7), 355–357. (In Russian).
- Olitskaya, D. A. (2018). Images of Siberia in German Paraliterature of the 19th and 20th centuries. *Text. Book. Publishing*, 18, 44–64. <https://doi.org/10.17223/23062061/18/3> (In Russian).
- Ostanina, M. A. (2019). John Bell's Travel Narrative about the Journey Across the Asian Space (1719–1721) as a Source for Materials about Siberia in Europe and Russia in 18–19 Centuries. *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*, 2, 571–574. (In Russian).
- Ostanina, M. A., & Shastina, T. P. (2018). An English Lady in the "Wildspace" of Siberia (Based on Mrs. L. Atkinson's Recollections of Tartar Steppes and Their Inhabitants). *Studia Litterarum*, 3(3), 64–81. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2018-3-3-64-81> (In Russian).
- Ozola, D., & Burima, M. (2023). Geopolitical Discourse in Contemporary Latvian and American Travel Narratives. *Journal of Frontier Studies*, 8(2), 291–312. <https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.418>
- Panarina, D. S. (2013). Myths and images of the Siberian frontier. *Cultural Geography & Geohumanities*, 2(1), 39–52. (In Russian).
- Price, M. Ph. (1912). *Siberia*. Methuen & Company.

- Prozorin, E. L. (2020). Representation of Siberia in the 19th century in J. Simpson's travelogue. XIV Annual Scientific Session of Postgraduate Students and Young Scientists: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference, 186–191. (In Russian).
- Reid, A. (1899). *From Peking to Petersburg*. Edward Arnold.
- Seniukhin, A. A. (2020). The images of Siberia in English and American travelogues of the turn of the XIX – XX centuries. *History magazine – researches*, 6, 107–115. <https://doi.org/10.7256/2454-0609.2020.6.34114> (In Russian).
- Shilovskiy, M. V. (2021). The Fate of Siberian Civilization. *Omsk Scientific Bulletin. Series Society. History. Modernity*, 6(1), 45–48. <https://doi.org/10.25206/2542-0488-2021-6-1-45-48> (In Russian).
- Taimanova, T. S. (2015). Siberia of Dominique Fernandez: Travelogue or Site of Memory. *Pushkin Leningrad State University Journal*, 1(4), 82–88. (In Russian).